

Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки



*Часть сборника
Тарас Бульба (сборник)*



Список школьной литературы 5-6 класс

Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки

«Public Domain»

1832

Гоголь Н. В.

Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь — «Public Domain», 1832 — (Список школьной литературы 5-6 класс)

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – первый сборник повестей Н.В.Гоголя, с восторгом встреченный его современниками и вызвавший отзыв А.С.Пушкина: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность!» Этот сборник оказался и самой светлой книгой Гоголя, любимой многими поколениями читателей.

Содержание

Часть первая	5
Предисловие	5
Сорочинская ярмарка	9
I	9
II	11
III	12
IV	13
V	14
VI	15
VII	16
VIII	18
IX	19
X	20
XI	21
XII	21
XIII	22
Вечер накануне Ивана Купала	25
Майская ночь, или утопленница	33
I	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки

Повести, изданные пасичником Рудым Паньком

Часть первая

Предисловие

«Это что за невидаль: „Вечера на хуторе близ Диканьки“? Что это за „Вечера“? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вешее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть – дрянь, который копаются на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался – плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдохнуть на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, – тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы*! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом – подыметесь крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и

повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории.¹ Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус*. Лопата у него – лопатус, баба – бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и – хватить его по лбу. «Проклятые грабли! – закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, – как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, – и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»... «Быть же теперь ссоре», – подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта, все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постратать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, – лень только проклятая рыться, – наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить

¹ Подкоморий – межевой судья.

нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» – «А вот там!» – скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть пугрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панько.

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

- Банду́ра**, инструмент, род гитары.
- Бато́г**, кнут.
- Боля́чка**, золотуха.
- Бо́ндарь**, бочарь.
- Бу́блик**, круглый крендель, баранчик.
- Буря́к**, свекла.
- Бухане́ц**, небольшой хлеб.
- Ви́нница**, винокурня.
- Галу́шки**, клёцки.
- Голодра́бец**, бедняк, бобыль.
- Гопа́к**, малороссийские танцы.
- Го́рлица**, ?
- Дивчи́на**, девушка.
- Дивча́та**, девушки.
- Дижá**, кадка.
- Дрибу́шки**, мелкие косы.
- Домови́на**, гроб.
- Ду́ля**, шиш.
- Дукáт**, род медали, носится на шее.
- Зна́хор**, многознающий, ворожея.
- Жи́нка**, жена.
- Жупа́н**, род кафтана.
- Кагане́ц**, род светильни.
- Кле́пки**, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.
- Книш**, род печеного хлеба.

Кобза, музыкальный инструмент.
Комбра, амбар.
Кораблик, головной убор.
Кунтуш, верхнее старинное платье.
Коровай, свадебный хлеб.
Кухоль, глиняная кружка.
Лысый дидько, домовый, демон.
Люлька, трубка.
Макитра, горшок, в котором трут мак.
Макабон, пест для растирания мака.
Малахай, плетль.
Миска, деревянная тарелка.
Молодица, замужняя женщина.
Наймыт, нанятой работник.
Наймычка, нанятая работница.
Оселёдец, длинный клочок волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очипок, род чепца.
Пампушки, кушанье из теста.
Пасичник, пчеловод.
Парубок, парень.
Плахта, нижняя одежда женщин.
Пекло, ад.
Перекупка, торговка.
Переполбх, испуг.
Пейсики, жидовские локоны.
Повётка, сарай.
Полутабёнок, шелковая материя.
Путря, кушанье, род каши.
Рушник, утиральник.
Свитка, род полукафтання.
Синдячки, узкие ленты.
Сластёны, пышки.
Свблок, перекладина под потолком.
Сливянка, наливка из слив.
Смушки, бараний мех.
Сбняшница, боль в животе.
Сопилка, род флейты.
Стусан, кулак.
Стрички, ленты.
Тройчатка, тройная плетль.
Хлбпец, парень.
Хутор, небольшая деревушка.
Хустка, платок носовой.
Цибуля, лук.
Чумаки, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чуприна, чуб, длинный клочок волос на голове.
Шийшка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка, соус, жижа.
Ятка, род палатки или шатра.

Сорочинская ярмарка

I

*Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки,
Де гуляють парубки!²*

Из старинной легенды

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплутся над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одиноко в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с чер-

² Мне тоскливо жить в хате, вези меня из дому туда, где много шума, где все девушки танцуют, где парни веселятся! (укр.).

ными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, – она почти каждый год переменила свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы – все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» – поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потушила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово.

– Славная дивчина! – продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. – Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

– Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!

– Вишь, как ругается! – сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий, – и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

– Столетней! – подхватила пожилая красавица. – Нечестивец! поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах...

Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новой силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

II

*Що, боже ти мій, госпODE! чого
нема на тій ярмарці!
Колеса, скло, дьоготь, тютюн,
ремінь, цибуля, крамарі всякі...
так, що хоч би в кишені було рублів
і з тридцять, то й тоді б не закупив
усієн ярмарки.³*

Из малороссийской комедии

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, бляение, рев – все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применялся к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочка заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал бабе киселя; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою...

³ Господи, боже мой, чего нет на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие... так, что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупил всей ярмарки (*укр.*).

дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась – и парубок в белой свитке, с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

– Не бойся, серденько, не бойся! – говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, – я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, – подумала про себя красавица, – только мне чудно... верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостает взять от него руку».

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.

III

Чи бачиш, він який парнище?

На світі трохи єсть таких.

Сивуху так, мов брагу, хлище!⁴

Котляревский, Энеида

– Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? – говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу.

– Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

– Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, – возразил человек в пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе что хотите, – думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов, – а у меня десять мешков есть в запасе».

– То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, – значительно сказал человек с шишкою на лбу.

– Какая чертовщина? – подхватил человек в пестрядевых шароварах.

– Слышал ли ты, что поговаривают в народе? – продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

– Ну!

– Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь – в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка!*

– Что ж это за *красная свитка?*

⁴ Видишь ты, какой парнище? На свете мало таких. Сивуху, словно брагу, хлещет! (укр.)

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

– Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши *дружкою*, уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

– Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

– Может, и узнал.

– Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

– Так, Солопий Черевик.

– А взглядишь-ко хорошенько: не узнаешь ли меня?

– Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех!

– Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!

– А ты будто Охримов сын?

– А кто ж? Разве один только *лысый дидько*, если не он.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

– Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

– Что ж, Параска, – сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, – может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации – под яткою у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей,⁵ бутылей, фляжек всех родов и возрастов.

– Эх, хват! за это люблю! – говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварти и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. – Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода – двух знаменитых городов Полтавской губернии, – выглядывать лучшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

IV

*Хоть чоловікам не онеє,
Та коли жінці, бачиши, теє,
Так треба угодити...⁶*

Котляревский

– Ну, жинка! а я нашел жениха дочке!

⁵ Суля – большая бутылка.

⁶ Хоть мужьям и не нравится, но коль жена, видишь ли, хочет того, то нужно угодить... (укр.).

– Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень, дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

– Э, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полквартиры не поморщившись.

– Ну, так: ему если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадетя мне: я бы дала ему знать.

– Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?

– Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

– Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

– Эге! да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего...

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! – думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. – Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что. Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

V

*Не хилися, явороньку,
Ще ти зелененький;
Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький!*⁷

Малороссийская песня

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

– О чем загорюнился, Грицько? – вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. – Что ж, отдавай волы за двадцать!

– Тебе бы всё волы да волы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

– Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

⁷ Не клонись, явор, ты еще зелененький; не печалься, козак, ты еще молоденький! (укр.).

– Нет, это не по-моему: я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга: сказал, да и назад... Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам...

– А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле – виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов – все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы; башмаки, надетые на босые загорелые ноги, – все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

– Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только! – отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей.

– За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток!

– Ну, а если солжешь?

– Солгу – задаток твой!

– Ладно! Ну, давай же по рукам!

– Давай!

VI

*От біда, Роман іде, от тепер
як раз насадить мені бебехів,
та й вам, пане Хомо, не без
лиха буде.⁸*

Из малороссийской комедии

– Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян.

– Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи? – лепетала заботливая Хивря.

– Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! – болезненно и шепотно произнес попович, подымаясь на ноги, – выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

– Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам *болячка* или *соняшница* пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

⁸ Вот беда: Роман идет, вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждать добра (укр.).

– Сушая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! – продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

– Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! – проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, – варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

– Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода! – сказал попович, принимаясь за товченички и подвигая другою рукою варенички. – Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

– Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович! – отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

– Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна! – шепотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее.

– Бог знает что вы выдумываете, Афанасий Иванович! – сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. – Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!

– Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя, – продолжал попович, – в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню...

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

– Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос...

Вареник остановился в горле поповича... Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

– Полезайте сюда! – кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

VII

*Та тут чудасія, мосьпане!⁹
Из малороссийской комедии*

На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями

⁹ Да тут чудеса, милостивый государь! (укр.).

произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

– Что, кума, – вскричал вошедший кум, – тебя все еще трясет лихорадка?

– Да, нездоровится, – отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на наложенные под потолок доски.

– А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! – говорил кум приехавшей с ним жене, – мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы напугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! – продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. – Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!

– Отчего же ты вдруг побледнел весь? – закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

– Я?.. Господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

– Куда теперь ему бледнеть! – подхватил другой, – щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк – или, лучше, сама *красная свитка*, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму:

– Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*.

– Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

– Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.

– Как же, кум? – прервал Черевик, – как же могло это случиться, чтобы черта выгнали из пекла?

– Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнезвился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

– Бог знает, что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинку? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

– Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял – наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!» – и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет

горит, как огонь, так что не нагляделся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушел; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накиннул на себя простыню и начал по-жидовски молиться богу, – слышит шорох... глядь – во всех окнах повывставлялись свиные рыла...

Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье сви-
ньи; все побледнели... Пот выступил на лице рассказчика.

– Что? – произнес в испуге Черевик.

– Ничего!.. – отвечал кум, трясаясь всем телом.

– Ась! – отозвался один из гостей.

– Ты сказал?..

– Нет!

– Кто ж это хрюкнул?

– Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

– Эх вы, бабы! бабы! – произнесла она громко. – Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи... Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись как полоумные.

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

– Жид обмер; однако ж свињи, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и миглом оживили жиды плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вот этого сволока. Жид – в ноги, признался во всем... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь – не горит бесовская одежда! «Э, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь – и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросил по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десятков, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от...

Другая половина слова замерла на устах рассказчика...

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

VIII

*...Піджав хвіст, мов собака,
Мов Капі, затрусивсь увесь;*

Из носа потекла табака.¹⁰
Котляревский, Энеида

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!» – отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» – горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним... Дух у него занялся... «Черт! черт!» – кричал он без памяти, утраивая силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Черт! черт!» – кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

*Ще спереду і так, і так;
А ззаду, ей же ей, на черта!¹¹*
Из прстонародной сказки

– Слышишь, Влас, – говорил, приподнявшись ночью, один из толпы спавшего на улице народа, – возле нас кто-то помянул черта!

– Мне какое дело? – проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган, – хоть бы и всех своих родичей помянул.

– Но ведь так закричал, как будто давят его!

– Мало ли чего человек не соврет спросонья!

– Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а вырубил-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

– Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут пристало к ним еще несколько человек.

– Что лежит, Влас?

– Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!

– А кто наверху?

– Баба!

– Ну вот, это ж то и есть черт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

– Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить! – говорил один из окружавшей толпы.

¹⁰ Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак (укр.).

¹¹ Спереди еще так-сяк, а сзади ей-же-ей, похож на черта! (укр.)

– Смотрите, братцы! – говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика, – какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

Х

Чур тобі, нек тобі, сатанинське навожде́нє!¹²
Из малороссийской комедии

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понесли навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговков понесся снова по всему табору – и страшные толки про *красную свитку*, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, между волов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желанья расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени – благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

– Вставай, вставай! – дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

– Сумасшедший! – закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которою он чуть было не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг.

– Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум...

– Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали...

– Как же, жинка, – подхватил Солопий, – с нас ведь теперь смеяться будут.

– Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

– Ты видишь, что я еще не умывался, – продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

– Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску...

Тут схватила она что-то свернутое в комок – и с ужасом отбросила от себя: это был *красный обшлаг свитки!*

– Ступай делай свое дело, – повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

– Будет продажа теперь! – ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. – Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло все!.. Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не

¹² Чур меня, чур, сгинь, дьявольское наваждение! (укр.).

давать покою. Будь, примерно, я черт, – чего, оборони боже, – стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган.

– Что продаешь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узду:

– Сам видишь, что продаю!

– Ремешки? – спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

– Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

– Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил!

– Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул – в ней перерезанная узда и к узде привязанный – о, ужас! волосы его поднялись горою! – кусок *красного рукава свитки!*.. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

*За моє жє жито та мене й побито.*¹³

Пословица

– Лови! лови его! – кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

– Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!

– Господь с вами! за что вы меня вяжете?

– Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

– С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

– Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

– Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда...

– Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

– Лови! лови его! – послышался крик на другом конце улицы. – Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.

– Чудеса завелись, – говорил один из них. – Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он как полоумный, – полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой *свитки*, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

– Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

XII

«Чим, люди добрі, так оце я провинився?»

«За що глузуєте?» – сказав наш неборак. —

¹³ За мое же жито, да меня и побили (*укр.*).

*За що знищується ви надо мною так?
За що, за що?» – сказав, та й попустив патьоки,
Патьоки гірких сліз, узявшись за боки.¹⁴*

Артемівський-Гулак, Пан та собака

– Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? – спросил Черевик, лежа связанный, вместе с кумом, под соломенной яткой.

– И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то еще когда мне было лет десять от роду.

– За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл; но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья!

– Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

– Что с тобою, Солопий? – сказал вошедший в это время Грицько. – Кто это связал тебя?

– А! Голопупенко, Голопупенко! – закричал, обрадовавшись, Солопий. – Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот Бог убей меня на этом месте, если не высушил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.

– Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

– Вот, как видишь, – продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку, – наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-Богу, рад бы был сделать все для тебя... Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

– Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя! – Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. – За то и ты делай, как нужно: свадьбу! – да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

– *Добре! от добре!* – сказал Солопий, хлопнув руками. – Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так – сегодня свадьбу, да и концы в воду!

– Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

– Как! разве кобыла нашлась?

– Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

– Что, Грицько, худо мы сделали свое дело? – сказал высокий цыган спешившему парубку. – Волы ведь мои теперь?

– Твои! твои!

ХІІІ

*Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки обуйся.
Топчи вороги
Під ноги;
Щоб твої підківки
Бряжчали!
Щоб твої вороги*

¹⁴ «Чем это я так, люди добрые, провинился? За что вы изводите меня? – сказал бедняга. – За что вы так издеваетесь надо мною? За что, за что?» – сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез (укр.).

*Мовчали!*¹⁵
Свадебная песня

Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? – шептала она с каким-то выражением сомнения. – Ну что, если меня не выдадут? если... Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко!* как пристала к нему белая свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, – продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием, – как я встречу тогда где-нибудь с нею, – я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла... дай примерить очинок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринул недавно попovich, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, – вскричала она, смеясь, – боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами, все, чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

Зелененький барвіночку,
Стелися низенько!
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься близенько!

Зелененький барвіночку,
Стелися ще нижче!
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься ще ближче!¹⁶

Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни – жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился впрямку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

– Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.

¹⁵ Не бойся матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали (*укр.*).

¹⁶ Зелененький барвинок, стелись низенько! А ты, милый, чернобровый, придвинься близехонько! Зелененький барвинок, стелись еще ниже. А ты, милый, чернобровый, придвинься еще ближе! (*укр.*).

– Ну, дочка! пойдем скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, – говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, – побежала закупать себе плахт и дерюг всяких, так нужно до приходу ее все кончить!

Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице.

– Боже, благослови! – сказал Черевик, складывая им руки. – Пусть их живут, как венки вьют!

Тут послышался шум в народе:

– Я скорее тресну, чем допущу до этого! – кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

– Не бесись, не бесись, жинка! – говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками, – что сделано, то сделано; я переменять не люблю!

– Нет! нет! этого-то не будет! – кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все несло. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабя и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала

*Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви*

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ – нам, простым людям, мудрено и назвать их – писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, – один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, – привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

– Пойдите! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

– Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

– Кто вам сказал, что это мои слова?

– Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*.

– Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль*. Так ли я говорил?

Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь – целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везть*,¹⁷ да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню – покойная старуха, мать моя, была еще жива, – как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы,¹⁸ Полтора Кожуха¹⁹ и Сагайдачного²⁰ не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда

¹⁷ То есть лгать. (Прим. Н.В. Гоголя.)

¹⁸ Подкова – казачий предводитель, в 1577 году завладел молдавским престолом; в 1578 году казнен Стефаном Баторием.

¹⁹ Полтора Кожуха – украинский гетман в 1638–1642 годах.

²⁰ Сагайдачный – украинский гетман; в 1616–1621 годах возглавлял походы запорожских казаков против турок.

не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы – есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, – вот не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм – что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете*²¹ было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те отрецивались от ведьм. Но приснись им... не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет – куды! – более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенка десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посередине поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма – вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь – снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка – как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, – так называли этого бесовского человека, – именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь – так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда – и отвязаться нельзя: бросишь в воду – плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его – наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, *паноче!* – загремел он ему в ответ, – знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!» Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько

²¹ То есть солгать на исповеди. (Прим. Н.В. Гоголя.)

нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодыцам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане золотых. И это бы еще не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видеть. Тетка покойного деда рассказывала, – а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, – что полненькие щеки козачки были свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то что сечь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз – ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, – вздумалось Петрусию, не обсмотревшись хорошенько в сених, вlepить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, – чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! – настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью, за неимением фузеи²² и пороха.

Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возмись шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, невзвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петрусию, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец –

²² Фузезя – кремневое ружье.

враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилков. Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча – моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел, – пропадать так пропадать!» – да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» – загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы – щетина, очи – как у вола! «Знаю, чего недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как горит! – заревел он, пересыпая на руку червонцы. – Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цацек». – «Дьявол! – закричал Петро. – Давай его! на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».

Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, – и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и – смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк.

– Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить... глядь – и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.

– Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

«Теперь пора!» – подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполонину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почувдилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга! – проворчал он сквозь зубы. – Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» – проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми шелкают орехи. «Славная красавица!» – подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» – сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? – цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» – глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз... что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота, покамест не достанешь крови человеческой!» – сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесило... Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку...

– А что ты обещал за девушку?.. – грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Все пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман

старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и – разнежился: «Сякой, такой Петрусь, немазанный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он как сын родной?» – и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишек, нашли рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы – и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравненье с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет – люли только! Как дивчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, на верх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодичицы, с корабlichem на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полутабенку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали туры. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдумают навеселе! Начнут, бывало, наряжаться в хари – боже ты мой, на человека не похожи! Уж не чета нынешним переодеваньям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? – только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы... Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хвататься. Пооденутся в турецкие и татарские платья: все горит на них, как жар... А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя, при всех, платье... Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блестит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра, – поговаривали все в один голос. – Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?» Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но ненароком посмотрит на мешки – «постой, постой, позабыл!» – кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум... и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему

водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и соняшницу заваривали²³ – ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козаков обкосилось и обжалось; много козаков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила*, а Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то; и сердится и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, – и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им; как полоумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытие, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки: изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостии. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!» – закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. «Ивась!» – закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она,

²³ Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. (Прим. Н.В. Гоголя.)

никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку; что будто еще никто не слышал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмурились, на него глядя.

Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, – еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, – что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою! давай креститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» – куды! подбоченившись важно, пустилась впрысядку по всей хате... Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть – шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, – нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, – так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны²⁴ стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком металась по небу.

²⁴ Гайвороны – грачи.

Майская ночь, или утопленница

Ворог його батька знає! почнуть що-небудь робить люди хрещені, то мурдуютьця, мурдуютьця, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу; тільки ж куди чорт уплетеця, то верть хвостиком – так де воно й взмеця, неначе з неба.²⁵

I Ганна

Звонкая песня лилась рекою по улицам села ***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!

– Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! – сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. – Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя – и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина! – проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. – Тебе любо издеваться надо мною, прощай!

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрыпом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.

– Какой же ты нетерпеливый, – говорила она ему вполголоса. – Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам... Я вся дрожу...

– О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! – говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. – Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

²⁵ Черт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди делать, мучатся, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж куда черт вмешается, верть хвостиком – так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба (укр.).

– Знаешь ли, что я думаю? – прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. – Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

– Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

– О, ты мне не надоел, – молвила она, усмехнувшись. – Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими – у меня как будто на душе усмежается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и люблю слушать тебя.

– О моя Галя! – вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

– Постой! полно, Левко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?

– Что? – сказал он, будто проснувшись. – Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж – говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».

– Что же?

– Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галя! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

– Да тебе только стоит, Левко, слово сказать – и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово – и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри! – продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. – Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, – туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.

– Нет, Галя; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее ставят перед светлым воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

– Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! – продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая свою тень, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. – Я помню будто сквозь сон, – сказала Ганна, не спуская глаз с него, – давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..

– Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснетя тебе покойно.

– Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубок! – говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. – Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка.

Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.